

«Нерушимое родство...»

«Я живу по стольким руслам...» Это важное признание звучит во многих письмах Марины Цветаевой разным адресатам, но особенно подробно и откровенно она углубляется в его сокровенный смысл в одном из писем к Р. Рильке. Она пытается объяснить великому поэту свою «безмерность в мире мер»: когда она пишет ему, та часть души ее, что принадлежит маленькому сыну, «не должна ничего об этом знать», и наоборот — когда она с Муром, эта часть ее души не должна ничего знать обо всем том, что связано в ее жизни с Р. Рильке. Эти слова можно отнести и к ее отношениям с Борисом Пастернаком, и к творчеству... Каждое из очень многих «русел» для нее безусловно самоценно, и она ревниво оберегает его от «смешивания» с другими.

Эта книга посвящена тому важнейшему руслу жизни и творчества Марины Ивановны Цветаевой, которое связано с ее пожизненным спутником — Сергеем Яковлевичем Эфроном, чье 125-летие отмечалось в 2018 году (через год после ее юбилея). В этой книге собраны посвященные ему стихи Марины Цветаевой и те отрывки из ее писем и записных книжек разных лет, где ощутимо его «присутствие» — порой в ярких живых эпизодах, порой — в размышлениях о его личности и месте его в ее жизни, а часто — просто в жгучей тоске по нему в годы разлуки...

Если перед многими стихами открыто стоит посвящение («С.Э.» или «Сергею Эфрон-Дурново»), то в прозе это может быть не так явно. Тем не менее не только в письмах и записных книжках, но и в помещенных здесь фрагментах больших цветаевских очерков, написанных в поистине разные эпохи ее жизни, — времен Гражданской войны («Мои службы») и эмиграции («Пленный дух» и «Страховка жизни»), где Сергей Эфрон отнюдь не является «главным героем», ощущается ее — в разное время очень по-разному эмоционально наполненный — «оборот» в его сторону: вначале восхищенный, наполненный гордостью за него, затем — болевой и все более напряженно обеспокоенный... И создается очень запоминающийся его образ — такой, какой только она и могла создать.

Но и образ молодой Марины никто не воссоздал талантливее, чем Сергей Эфрон в своей юношеской повести «Детство».

(Впервые после 1912 года она была опубликована в полном объеме в 2016 году в Иерусалиме в издательстве «Филобиблон».) Марина Цветаева по-особому ценила эту повесть и всегда верила в писательскую одаренность Сергея. «Главное русло, по которому я его направляю — писательское», — писала она гораздо позже — в 30-е годы (новой заочной знакомой, живущей в Америке — Р.Н. Ломоносовой). Она всегда глубоко сожалела, что дальнейшая жизнь его не пошла по этому руслу...

Все же Сергей Эфрон успел немало написать, и в этой книге представлены, кроме «Детства», его очерки уже много испытавшего воина (из «Записок добровольца»). Многие историки утверждают, что трагические дни Октября 1917 года в Москве нигде — ни одним из очевидцев! — не описаны так живо и ярко, с такими бесценными подробностями, так талантливо, как в очерке С. Эфрона «Октябрь. (1917 г.)». В книгу включены и наиболее значительные его письма, в которых не менее, чем в прозе, ощутимы многие «составляющие» безусловно присущего ему писательского таланта — зоркая наблюдательность, внимание к деталям, живой юмор, эмоциональность и увлекательность повествования, тонкий психологизм.

Живой голос Сергея Эфрона опровергает несправедливое, но, к сожалению, ставшее за последние годы едва ли не стереотипным утверждение, согласно которому они с Мариной Цветаевой с самого начала были несовместимо разными людьми, но якобы просто не заметили этого на волне молодой влюбленности. (В этом утверждении явно слышится недооценка как талантливости, так и — особенно! — общего уровня личности Сергея.) О том, что это далеко не так, свидетельствует и наиболее любимый Мариной Цветаевой рассказ его — «Тиф», на важных страницах которого с такой силой звучит ни на минуту не отпускающая его в долгие годы разлуки боль за Марину, оставшуюся в далекой и ставшей теперь такой страшной их любимой Москве, страх за ее жизнь... Нельзя не ощутить при чтении этих пронзительных строк связывающее их поистине «нерушимое родство», о котором сказано в цветаевских стихах «Лебединого стана» («Как по тем донским боям...»).

Есть здесь и их письма, статьи и записи 30-х годов, когда возникло тяжелое отчуждение, связанное с овладевшими сознанием Сергея Эфрона наивными иллюзиями относительно якобы счастливой жизни народа в советской стране. Эти иллюзии разделялись

многими знаменитыми писателями западных стран, но не Мариной Цветаевой, слишком хорошо помнящей советскую Россию, в которой прожила после революции пять страшных лет. Она страстно пыталась переубедить Сергея, рвавшегося вернуться на родину и уже подавшего прошение о советском паспорте, и была в отчаянии от невозможности этого — от его «почти фанатизма», увлекающего и трагически обманывающего и их детей. Такое отчуждение бросает невольную тень на весь их прежний долгий совместный путь, и в этой тени порой перестает видеться все ценное, что навсегда связало их — и не разрушилось даже в самых страшных испытаниях отношений.

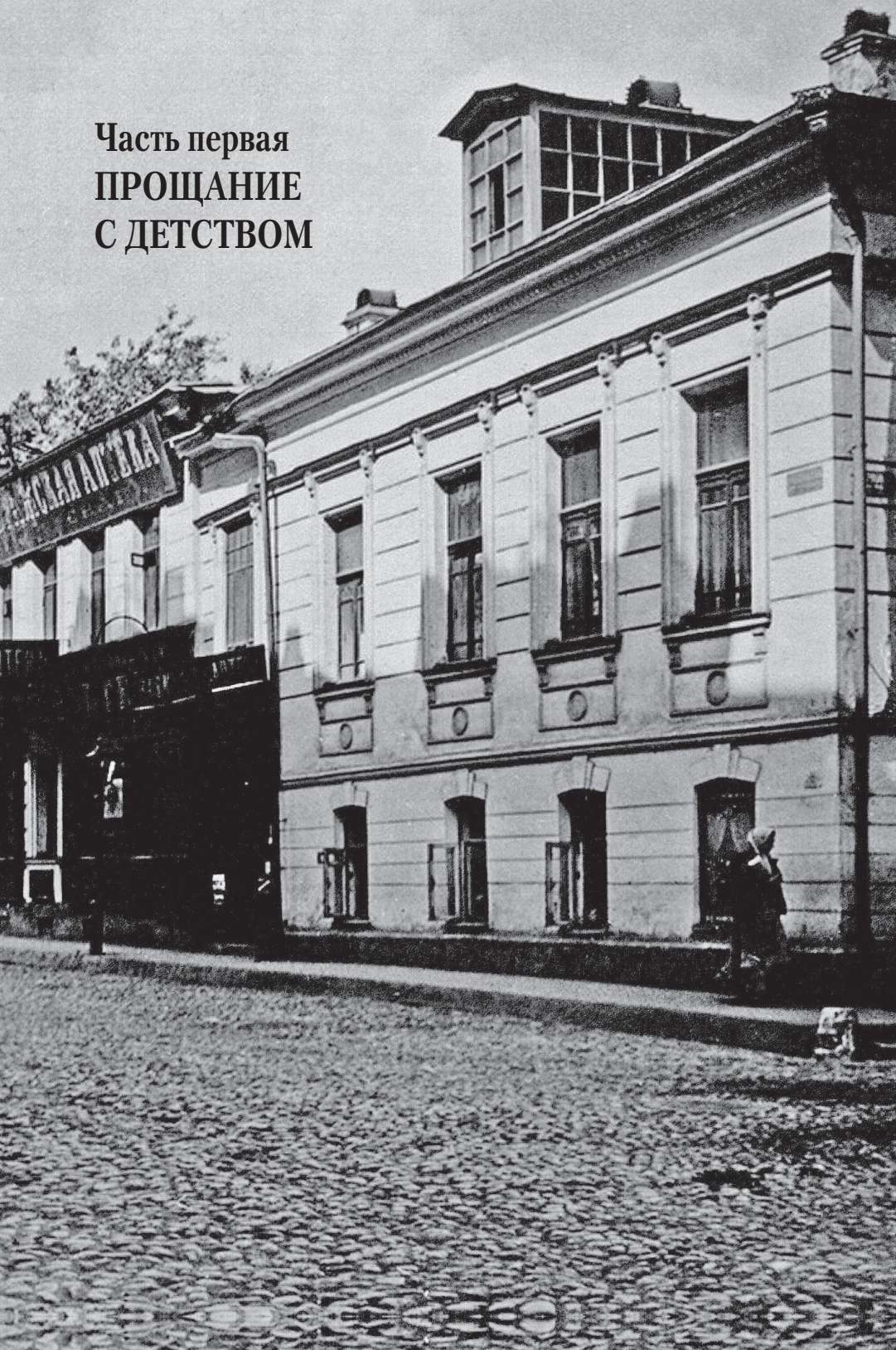
Многое освещается важным дополнительным светом, если читать стихи и прозаические записи Марины Цветаевой и прозу Сергея Эфрона параллельно, как они расположены в этой книге: тогда обнаруживаются и многие пронзительные «переключки», и резкие расхождения. (Так, в том самом июне 1931 года — может быть, в тот же день, когда Сергей Эфрон отправил официальное прошение о советском гражданстве, Марина Цветаева написала трагическое стихотворение «Страна», проникнутое совсем другим настроением...) Такое чтение требует не скороспелых выводов, а вдумчивой неторопливости. С верой в добрую волю читателей именно к такому чтению издатель с волнением представляет эту книгу.

Лина Кертман



Москва

Часть первая
ПРОЩАНИЕ
С ДЕТСТВОМ



Сергей Эфрон

Детство

Посвящаю эту книгу Марине Цветаевой

...Дети — это мира нежные загадки,
Только в них спасенье, только в них ответ!

Марина Цветаева
(Из сб. «Вечерний альбом»)

Дама с медальоном

Выходя в тот день с Fräulein на прогулку, я был, как всегда в таких случаях, довольно дурно настроен. Прогулка не предвещала ничего интересного: снова копаться в песке с запрещением пачкать костюм; снова сидеть с Fräulein на скамейке и слушать ее никому не нужные разговоры с другой Fräulein, такой же скучной; снова скрепя сердце отказываться от участия в играх, точно от этих веселых девочек и мальчиков можно чем-нибудь заразиться. Но как не пойти? Fräulein нужно слушаться.

У нас во всем расходились вкусы: она любила тень, я — солнце; она скамейки с Fräulein'ами, я предпочитал без них. Мы сходились лишь в одном: мы не любили гулять друг с другом.

Был майский солнечный день. Мы шли по главной аллее бульвара. На песке играли синие тени листьев вперемежку с золотыми пятнами. Эти пятна — островки, синее между ними — вода. Надо ступать с острова на остров. Это трудно — у меня такие большие ноги! Все время попадают в воду!

Может быть, на островах есть люди, которых я не вижу. Может быть я, ступая, каждый раз убиваю целые тысячи. Может быть, сейчас, в эту самую минуту, когда я поднимаю ногу, какой-нибудь мальчик тоже гуляет с Fräulein по своему бульвару. Моя нога для него страшная желтая гора (я в желтых башмаках). Гора опускается — мальчика нет! А что, если и меня сейчас раздавит какой-нибудь великан? Гляжу наверх — никого. Только синее, синее небо.

На скамейке — их всегда выбирала Fräulein — уже сидела знакомая нам бонна с раскрытой книгой в руках. При виде нас она радостно отложила ее в сторону, и через минуту обе Fräulein уже, захлебываясь, рассказывали друг другу новости.

Что делать? Строить песочную гору? Ну, выстрою, а потом? Можно, конечно, выстроить на ней замок. Но с кем же я там буду? В замке нельзя без принцессы. Ах, если бы вчерашняя девочка, так долго звавшая меня играть, согласилась в нем со мной поселиться! Но это невозможно — ни ей, ни мне не позволят. Остается одна Fräulein... Нет, лучше тогда совсем не нужно замка!

Я поднял глаза: рядом играют в кошки и мышки; девочка в большой шляпе катит серсо; вот толстая няня уводит домой плачущего мальчика — другой мальчик отнял у него лопаточку... Все заняты, все меня забыли.

Я перевожу глаза на синие тени у скамейки. Может быть, это пруд? Нет, лучше море! Я на корабле (без Fräulein) и еду открывать чудесный остров. Там не играют в песок, там настоящие замки и настоящие принцессы. У меня, конечно, будет много-много замков. Утром я буду ездить на охоту в дикие леса. У меня будет много-много коней: все, как Конек-Горбунок, только без горбов. А в лесу будут жар-птицы, колдуны и волки. Когда я въеду в лес, они все захотят меня убить, а я...

— Какой чудный мальчик!

Я вздрагиваю: на плечах у меня чьи-то руки. Испуганно поднимаю глаза: передо мной чужая дама в черном платье, с золотой цепочкой на шее. У нее бледное лицо и большие темные глаза. Она не уходит. Чего ей от меня нужно?

— Как тебя зовут, детка?

Какой странный голос! Точно ее кто-нибудь обидел, и она сейчас заплачет.

— Ты меня боишься?

— Нет.

— Так как же тебя зовут?

— Кира.

Она садится на скамейку и берет меня на колени.

Fräulein прекращает разговор и недовольно оборачивается в нашу сторону.

Мне отчего-то неловко. Хочется слезть, но я не решаюсь.

— Кто твоя мама?

— Мама? Не знаю... Она моя!

Дама улыбается.

— Ты очень хорошо ответил. Я тоже мама, и у меня тоже был свой мальчик.

— А где же он?

Я чувствую, как Fräulein дергает меня за рукав, но нарочно делаю вид, что не замечаю, и смотрю в другую сторону.

— Hast du schon vergessen, was dir Mama unlängst sagte?¹ — не выдерживает она.

— Vergessen², — холодно отвечаю я.

Fräulein отвертывается, делая вид, что не слыхала моего ответа.

Моя новая знакомая мне все больше и больше нравится.

Я даже и не думаю слезать с ее колен.

— А тебя как зовут? — спрашиваю я.

— Зови меня тетей Вале́й.

— Разве ты тетя?

— Почему же не тетя?

— Тети не такие! — убежденно говорю я.

— Ну, зови меня просто Вале́й, если я, по-твоему, не похожа на тетю, — улыбаясь, говорит она и, протягивая руку к сидящей против нас старушке, добавляет: — А это моя мама. Идем к ней.

Старушка мне сразу понравилась. У нее было такое же печальное и доброе лицо, как у Вали, только с морщинами. Платье у нее было какое-то особенное, с блестками, которые при малейшем движении вздрагивали и тихо звенели. Солнце, отражаясь в них, казалось совсем другим.

— Как это называется? — спросил я после долгого и внимательного разглядывания таинственных стеклышек.

— Ах, вот на что ты так долго смотришь! — тихо засмеялась старушка. — Это называется стеклярус. Разве у твоей бабушки нет его на платьях?

¹ Ты уже забыл, что тебе мама недавно говорила? (нем.)

² Забыл (нем.).

Тут я припомнил, что изредка видел такое платье на бабушке.

— У бабушки тоже черное платье! — ответил я, — и тоже с этим. Но у вас этого больше, у вас лучше. Вы очень похожи на бабушку. Вы, наверное, тоже бабушка?

— У меня был внучек, как ты; такой же хороший, большой. Только Бог не захотел его оставить с нами и взял его к себе на небо.

— На небо?.. — Я задумался. — Где же там можно жить? И зачем Богу понадобился бабушкин внучек?

Старушка и Валя что-то тихо говорили между собой по-французски, и я уловил эти несколько слов: *Quelle ressemblance! C'est frappant!*¹

От черных блесток я перевел глаза на цепочку у Вали на шее. На конце ее висел какой-то длинный кружочек, а в середине кружочка был какой-то мутный камешек, точно капля молока.

— Что это у тебя, брошка? — и я повернул кружочек.

— Нет, милый, это называется медальон.

— А для чего это?

— Сюда вставляют карточку.

Тут она раскрыла кружочек на две половинки, и я увидел маленькое лицо.

— Что это?

— Это мой мальчик, который умер. Его звали Женей.

— У меня тоже есть маленький брат Женя. Он сейчас дома, больной.

— А что с ним? — спросила она, проводя рукой по моим волосам. — Он часто болен?

— Часто. Он кашляет.

— У моего мальчика были такие же глаза, как у тебя, и такие же волосы. Тебе нравится его лицо?

— Он тут такой маленький!

Мимо нас, обгоняя друг друга, пробежали две девочки. Одна из них, поменьше, держала над головой палочку с вертящимися разноцветными звездочками.

Валя улыбнулась.

— Когда я была маленькой, я страшно любила эту игрушку.

¹ Какое сходство! Поразительно! (*фр.*)

— Ты любишь игрушки?

— Да, — рассеянно протянул я, глядя вслед убегающим девочкам, — но я тоже люблю книги. У нас много книг. Я больше всего люблю с картинками. Мы с Женей кладем книгу на стул, сами становимся на колени и смотрим. Есть такая хорошая картинка: такой дом, — высокий-высокий, в окне огонь, а вокруг море. Я забыл, как это называется, но это для кораблей, чтобы не заблудились.

— Маяк?

— Да, да. Ты, наверное, все знаешь? А знаешь еще картинку Мах und Moritz?¹ Это были два брата, они никого не слушались, а под конец из них сделали пироги.

Старушка и Валя смеялись. Я продолжал:

— А потом я еще люблю Weihnachtsmann'a². Он к тебе приходит?

— Когда-то приходил, к моему мальчику...

— А знаешь что? — оживился я. — Когда он к нам придет — это будет на Рождество, — я его попрошу, чтобы он и к тебе заходил. Хочешь?

— Спасибо, милый.

Fräulein со своей скамейки делала мне отчаянные знаки.

Я встал.

— Меня Fräulein зовет. Мне ужасно не хочется к ней.

— Иди, иди, а то мама рассердится, — сказала старушка.

— Ну, мама-то не рассердится! Она добрая! Я ей все расскажу про Валью... И про вас тоже, — спохватившись, добавил я.

Мы попрощались, и я медленно перешел на другую сторону аллеи, где Fräulein уже приготовилась идти домой. Чужая бонна ушла. У Fräulein было сердитое лицо.

— Wart nur! Wart nur! — шипела она. — Alles wird Mama erfahren! Hat dir Mama erlaubt mit fremden Leuten zu sprechen? Du schlechter, ungezogener Junge! (Подожди! Подожди! Все мама узнает! Позволила тебе мама разговаривать с чужими? Гадкий, непослушный мальчик!)

¹ Имеются в виду герои книги Вильгельма Буша «Макс и Мориц. История мальчиков в семи проделках». Подробнее см. Комментарии — 1.

² Дед Мороз.

— Gehen Sie zum Kukuck! (Оставь меня, наконец, в покое!) — крикнул я, вырывая руку из цепких пальцев Fräulein, и с плачем пустился к Валиной скамейке.

— Fräulein ругается! — захлебываясь, говорил я. — Ни за что я с ней не пойду! Пусть одна идет! Отведи меня домой сама. Ты совсем останешься у нас, ты будешь жить в нашей детской, и мама тоже, и Женя. А Fräulein пусть с Томкой в будке!

Валя слушала с участием, старушка качала головой.

— Вот что я тебе скажу, — ласково начала Валя, — когда ты придешь домой, ты все расскажешь маме, а мама скажет Fräulein, чтобы она на тебя не сердилась. Согласен?

— Дд-а-а... — неуверенно протянул я, — а ты к нам придешь в гости?

— Приду, приду!

— И вы тоже? — обратился я к старушке.

— И я приду, — с улыбкой согласилась та.

— Так беги же скорей! — сказала Валя. — А вот тебе на память о моем мальчике.

Она сняла свой медальон и надела мне его на шею. Я растерянно молчал.

— Ну, прощай, Кира! Ты меня не забудешь?

— Нет.

Я все еще не пришел в себя.

Она несколько раз поцеловала меня, и я бегом пустился к Fräulein, придерживая обеими руками качающийся медальон.

— Fräulein, Fräulein! Что она мне подарила! — кричал я еще в десяти шагах от скамейки, куда она села. — В нем портретик!

— Was wird noch Mama darauf sagen?¹ — ехидно проговорила она и, взяв меня за руку, молча повела по боковой аллее.

Мне было грустно. Почему Fräulein сердится? Почему тени листьев уже не похожи на воду? Почему так не хочется думать о чудесном острове с замком и охотой?

Я так ясно видел свой замок, я даже слышал стук копыт по мосту. Теперь все скрылось — куда? И девочка скрылась, нарядная девочка, так долго звавшая меня играть.

¹ Что еще скажет об этом мама? (нем.)

* * *

Дома я все рассказал маме. Она, как я и ожидал, выслушала меня очень ласково и долго вглядывалась в портретик.

— Знаешь что, Кира, — сказала она, — я боюсь, что ты потеряешь свой медальон. А ведь жалко было бы, правда?

— Жалко, — уныло согласился я.

— Хочешь, я его спрячу?

— Спрячь. Только можно мне его поносить до вечера?

Мама, конечно, согласилась.

Вечером в постели я еще раз говорил с ней о Вале.

— Она придет к нам, мама, и будет с нами жить. Она обещала. Ты рада? — закончил я свой рассказ.

— Да, милый, я буду рада.

Прощаясь со мной, она сняла с меня медальон и опустила в свою шкатулку. Я до сих пор вижу ее жест: сначала скрылся кружочек с камешком, двойной змейкой легла цепочка...

— Когда ты захочешь на него посмотреть, ты мне скажешь, — проговорила мама, целуя меня.

А у меня давно уже капали на подушку слезы.

Сюрприз

В доме было тихо. Мама с Женей легли спать, сестры готовились к экзаменам.

Побродив по пустым комнатам, переглядев в сотый раз на стенах все картины, перелистав в гостиной все альбомы, я только что поудобнее расположился с книгой в своем любимом мягком кресле, как послышался голос нашей горничной:

— Кирилл Сергеевич! А Кирилл Сергеевич!

— Что такое? — лениво отозвался я. (Наверное, опять тарелку разбила и боится сказать.)

— Барин, миленький, я сейчас на минутку отлучусь из дому. Не можете ли вы открыть дверь, когда позвонят? — торопливо шептала Маша. — Только скажите, что никого дома нет.

Я сразу согласился. Очень весело открывать дверь!

Я бросил книгу, влез на подоконник и стал следить за прохожими. Вот идет какая-то дама с мальчиком. Какой славный мальчик! Дай Бог, чтобы к нам! Проходят под нашими окнами. Я стучу по стеклу. Мальчик поднимает голову, дама смеется и грозит пальцем. Нет, мимо. Вот студент. Куда он так спешит? Двое мастеровых, баба в платке, какой-то господин с тросточкой... Столько людей, и все не к нам!

— Сосчитаю до ста, — думаю я, — наверное, за это время кто-нибудь позвонит!

Считаю возможно скорее, отстукивая пальцем по стеклу.

— Господи, уже семьдесят, и все никого! Дело идет к девяноста — счет постепенно замедляется. — Восемьдесят девять...

Проехал пустой извозчик.

— Девяносто... девяносто один, — нарочно растягиваю слова, — девяносто два, девяносто... три, девяносто че-ты-ре, — какая скука, — девяносто пять.

Когда Маша дома, все время звонят, в кои-то веки открываю я — и никого!

— Девяносто шесть... Девяносто семь...

Пальцы совсем прилипают к стеклу.

— Девяносто восемь...

Тут мне начинает казаться, что я с пятидесяти перескочил прямо на семьдесят. Приходится начинать с середины.

Идут, идут, и зачем все идут? Высунуться разве в форточку и крикнуть что-нибудь городовому?

— Пятьдесят три.

Тут мое внимание привлек выезжавший из-за угла экипаж. Толстый кучер крепко натянул вожжи. Лошади в серых яблоках быстро несутся по переулку. В экипаже какой-то господин, с ним двое мальчиков. Да это дядя Володя! Сейчас будет звонок.

Я быстро спрыгиваю с подоконника и бегу в переднюю. Звонят. Сердце бьется быстрее.

Дядя Володя, — какой он важный! Статный, высокий, седой! У нас дома говорят, что у него греческий профиль. Почему греческий? Я знаю одного грека из фруктовой лавочки. Нос у него крючковатый, глаза черные...

— Эта фрукта первого сорт, — говорит он.

Дядя Володя не такой: у него прямой нос и серые глаза.

Все это быстро пронеслось у меня в голове, пока дядя и двоюродные братья-гимназисты, глядевшие на меня свысока, снимали пальто и опраивались перед зеркалом.

Только в столовой я вспомнил о Машином наставлении. Но было поздно: дядя Володя уже сидел у стола, мальчики рассматривали обои.

— Ну, Кира, где же мама? — начал дядя Володя.

— Она за покупками уехала на Кузнецкий, — храбро глядя ему в глаза, ответил я.

— А сестры дома?

— Нет, они тоже уехали.

— Все? Куда же?

— В Пассаж.

— Гм... — Дядя Володя побарабанил пальцами по столу. — А папа дома?

— И папа тоже уехал...

— В Пассаж? — закончил дядя.

— Я не знаю, куда он уехал! — с отчаянием воскликнул я.

Мальчики переглядывались, дядя барабанил пальцами.

— Женя-то по крайней мере дома?

— И Жени нет, никого нет!

Вдруг из маминой спальни раздался громкий зевок. Я так и замер от ужаса.

— Это кто же зевает? — спросил дядя.

Я, не отвечая, летел к сестрам в комнату.

— Дядя Володя там сидит! Я сказал, что никого дома нет! — шепчу я, открывая дверь.

Дверь с шумом захлопывается. Я стою на середине залы красный, готовый расплакаться от смущения.

— А это кто? — дядя указывает на беспощадную дверь.

— Там... Там Женя мне сюрприз готовит! — упавшим голосом отвечаю я.

В эту минуту на пороге маминой спальни показывается... Женя! Только что вставший, заспанный, сладко зевающий Женя.

— Где же твой сюрприз? — иронически улыбается дядя.

Женя удивленно трет глаза:

— Я с мамой спал!

* * *

И теперь при каждой встрече со мной дядя неизменно спрашивает: «Ну, а как твой сюрприз?»

В Пассаже

Для меня навсегда осталось загадкой, почему у всех немецких бонн непременно есть жених и этот жених непременно Карл.

Они могут различаться друг от друга цветом лица (вернее, оттенком румянца — бледных Fräulein не бывает), прической, манерой наказывать и прощать, но у каждой из них на комоды мы неизбежно найдем фотографическую карточку с надписью: «Моей горячо любимой Доротее... Эльзе... Сусанне... от ее верного Карла».

У этого Карла высоко поднятая голова, закрученные усы, широкие плечи и выдвинутая грудь с двумя дугами блестящих пуговиц.

Такой Карл красовался на комоды и у нашей Fräulein, и о нем рассказывала она в тот день на прогулке Лене. Этот рассказ мы, дети, знали уже давно, — с первого дня ее приезда.

У ее Карла были голубые глаза, веселый характер и цитра, на которой он играл три вещи: «О, Tannenbaum, о, Tannenbaum», «Die Wacht am Rhein» и «Kommt's Vöglein geflogen»¹... Кроме того, он хорошо танцевал и пел на вечерах «Schnadahüpfeln»². Этого слова я, даже после старательных разъяснений Fräulein, никак не мог понять. Мне эти «Schnadahüpfeln» представлялись в виде маленьких прыгающих насекомых с очень длинными ногами. В конце концов я так и решил, что он, несмотря на свои двадцать три года и усы, пел именно о них.

В тот день незадолго до прогулки Fräulein получила от него письмо и с новым жаром рассказывала о нем Лене.

¹ «О, елочка, елочка», «Вахта на Рейне» и «Птичка, птичка прилетела» (нем.)

² «Попрыгунчики» (нем.).

— Он недавно катался на лодке в Тиргартене со своей тетей. О, он прекрасно гребет! Если бы вы только видели, Ленхен, как он красив на воде! Взмахнет один раз веслами, и лодка уже на середине озера! Дома вы сама прочтете его письмо. Недавно он был приглашен в крестные отцы к своему товарищу и дал своей крестнице мое имя — Сусанна. После крестин он с ней фотографировался, я скоро получу эту карточку. Как вы думаете, Ленхен, в какую рамку ее лучше вставить?

— Я думаю, в золотую? — нерешительно сказала Лена.

— О, нет, *Gott bewahr!* Он ведь сам золотой, — я хочу сказать — блондин. Я думаю, к его волосам лучше всего пойдет голубая рамка небесного цвета.

— А по-моему, малиновая, — вставил я свое слово.

— Ты еще слишком молод, чтобы судить об этом, — строго сказала *Fräulein* и, обернувшись к Лене, продолжала свой рассказ.

В Пассаже было пестро илюдно. У витрин стояли нарядные дамы; то и дело открывались и закрывались двери магазинов, впуская и выпуская покупателей. Сквозь стеклянную крышу синело осеннее небо.

Взглянув наверх, я вспомнил небесно-голубую рамку, свой совет и последовавшую за ним фразу *Fräulein*.

Мне семь лет, и я слишком молод! Но если я слишком молод, зачем мне слушать о Карле? В Пассаже столько вещей более привлекательных и подходящих для моих семи лет. Например, кондитерская, где такие красивые пирожные, или игрушечный магазин, или...

Я оглянулся: *Fräulein*, увлеченная разговором, очевидно, не думала обо мне; Лена, хотя и не увлеченная, тоже не смотрела в мою сторону.

Дойдя до угла, я быстро свернул в боковой ряд и бегом пустился вперед. Моей ближайшей целью было разыскать большого белого медведя с тарелкой в лапах у двери мехового магазина. Из-за него, собственно, я и упросил *Fräulein* пойти в Пассаж. В одной немецкой книге я прочел его историю. Детство и молодость его прошли в ледяном дворце на берегу океана. Там он был королем над всеми медведями. Утром он пил рыбий жир, конечно, не такой противный, как мой; после обеда ему подавали на серебряном блюде целую гору мороженого. По окончании